## Истинная ценность существования

# Сергей Снегов

В этом человеке угадывалась военная косточка. Даже блатные говорили, что «батя из военных». Он одевался в те же безобразные ватные брюки и бесформенный бушлат, что и мы, но носил эту уродливую одежду непохоже на нас. Он был подтянут, спокоен и вежлив особой отстраняющей и ставящей собеседника на место вежливостью. Мы прожили с ним бок о бок почти год, и я ни разу не слыхал от него не то что мата, но и черта. Если даже временами и являлось желание выругаться, то он не давал ему воли. У него, видимо, не воспиталось обычной у других жизненной привычки настаивать, добиваться, вырывать, выгрызать свое — он всю свою жизнь просто командовал.

При первой встрече я сказал ему, что он напоминает мне кого-то очень знакомого, только не соображу — кого. Он ответил, сдержанно улыбнувшись:

— Моя фамилия Провоторов. Вряд ли она что-нибудь вам говорит.

Я любил поражать людей неожиданной эрудицией. Я помнил тысячи дат, имен и событий, которые были мне абсолютно ни к чему. Мой мозг был засорен великими пустяками. Я мог сообщить, в какой день вандалы Гензериха взяли приступом Рим, когда родился Гнейзенау, и произошла Варфоломеевская ночь, и как звали всех маршалов Наполеона, капитанов Колумба, офицеров Кортеса. Зато я понятия не имел о том, без чего зачастую было невозможно прожить — друзья возмущались моей житейской неприспособленностью и ворчливо опекали меня. Чаще всего я пропускал их уроки мимо ушей.

— Если вы не конник Провоторов, прославленный герой гражданской войны, — проговорил я небрежно, то фамилия ваша, в самом деле, ничего мне не говорит. Он с изумлением глядел на меня.

Я тот самый Провоторов. Только какой уж там герой! Вы преувеличиваете.

Теперь подошла моя очередь удивляться. Я назвал фамилию Провоторова, просто чтоб похвастаться своими знаниями. Меньше всего я мог подозревать, что этот седой худощавый мужчина в бушлате, сидевший против меня на нарах, и есть известный комдив, гроза белогвардейцев и бандитов. «Червонное казачество Провоторова» — как часто я слышал еще в детские годы эту формулу, как часто потом встречал ее в книгах! Этот человек в самом пекле гражданской войны воздвигал советскую власть, чтобы она нерушимо стояла века — вот он сидит на нарах изгоем и пленником создававшейся им власти! На минуту острое отчаяние, не раз уже охватывавшее меня, снова пронзило болью мое сердце. Мой мозг непрерывно бился, пытаясь разрешить чудовищное противоречие, убийственное противоречие моего века. Как много написано прекрасных и страшных книг о великих страстях, терзающих душу человека, о деньгах, о власти, о природе, о смерти, о любви —особенно о любви. Мы все любили, мы все с волнением читали повести страданий молодых любовников, но будь я проклят, если любовь была главным в нашей собственной жизни. Мы, возмужавшие в первой половине двадцатого века, знали куда более пылкие страсти, чем влечение к женщине, куда более горькие события, чем расставания влюбленных душ. Только обо всем этом, нами испытанном, еще не написано настоящих книг!

Итак, я разговаривал с Провоторовым Я расспрашивал, как он попал в тюрьму, нет ли переследствия и где он работает Я уже не помню, что он отвечал. Очевидно, история его «посадки» была настолько стандартна,что ее не стоило запоминать. Провоторов устроился, по местным условиям, неплохо — прорабом в одной из строительных контор. Он был теперь моим соседом, наши нары, разделенные проходом, располагались одна напротив другой.

А на верхних нарах, как раз над Провоторовым, разместился неряшливый толстый человек лет сорока, всегда небритый, с темным одутловатым лицом. Он не понравился мне с первого взгляда, и это впечатление долго сохранялось. Он был мрачен и сосредоточен, всегда подгружен в себя, а когда его выводили из задумчивости, так яростно огрызался, что его старались не трогать. Я знал, что он работает на обогатительной фабрике, в тепле, и получает, как и все металлурги, усиленный паек. Странных людей кругом нас хватало, я не лез к нему с дружбой, он попросту не замечал меня. Звали его не то Бушлов, не то Бушнов. После ужина он сразу заваливался на нары и уж больше ни разу не слезал до утреннего развода. Я решил, что Бушлов лежебока.

Провоторов, к моему удивлению, отнесся к Бушлову с расположением. Он даже ухаживал за ним, когда тот валялся на нарах, — носил в кружке воду из бачка, совал книги. Ему, видимо, хотелось вывести Бушлова из всегдашней угрюмой сосредоточенности. Когда я поинтересовался, почему он оказывает внимание такому ленивому человеку, Провоторов улыбнулся непохожей на него грустной, слишком уж христианской улыбкой. — Все мы мучаемся, что нас невинно посадили, а он мучается побольше нашего. В мире назревают грозные события — не здесь, не здесь сейчас ему надо быть! Этого я не понимал. Кому из нас надо было находиться здесь? И ведь официальным объяснением нашего пребывания в этих отдаленных местах было именно то, в мире назревают грозные события. Нас старались удалить от мировых катаклизмов, каким-то безумцам и прихлебателям казалось, что так надежней. Не один Бушлов имел причины возмущаться.

В эти осенние месяцы 1939 года меня поставили во главе инженерной группы, обследовавшей технологический процесс на ММЗ — Малом металлургическом заводе. Я стал — на время, конечно, — почти начальником вызывал и перемещал людей. На столе моем поставили телефон — высший из атрибутов начальственной власти. Я более ценил другой атрибут газету, которую приносили главному металлургу комбината Федору Аркадьевичу Харину, но чаще оставляли на моем столе, он был ближе к двери. Должен признаться, что я воровал его газеты. Я разрешал себе только этот род воровства. Я воровал с увлечением и не всегда дожидался, пока главный металлург торопливо перелистает серые странички местного листка. Он был прекрасный инженер и хороший человек, этот Харин, но в политике разбирался как иранская шахиня. Я не испытывал угрызений совести, оставляя его без последних известий. Он догадывался, кто похищает его газеты, но прощал мне это нарушение лагерного режима, как, впрочем, и многие другие нарушения.

А в бараке, по праву владельца газеты, я прочитывал ее вслух от корки до корки. Обычно это совершалось после ужина. Лишь в дни особенно важных событий чтение происходило до еды. Так случилось и в тот вечер, когда появилась первая боевая сводка финляндской войны. Я помню ее до сих пор. В ней гремели литавры и барабаны, разливалось могучее ура — ошеломленного противника закидывали шапками. Наши войска атаковали прославленную линию Маннергейма, прорвали ее предполье, с успехом продвигаются дальше — так утверждала сводка. У нас не было причин не доверять ей. Мы знали, что наша армия — сильнейшая в мире. Мы верили, что от Москвы до Берлина расстояние короче, чем от Берлина до Москвы. Осатаневшие белофинны задумали с нами войну — пусть теперь пеняют на себя — завтра их сотрут в порошок!

Бушлов по обыкновению лежал на нарах, безучастный ко всему. Услышав сводку, он соскочил на пол и протолкался ко мне:

— Дайте газету! — закричал он, — Немедленно дайте, слышите!

Я строго отвел протянутую руку.

— Успеете, Бушлов! Вы не один, кто интересуется последними известиями. Сейчас я прочту четвертую страницу, потом можете вы. Но не долго, у меня уже человек пять просили...

Провоторов наклонился надо мной.

— Дайте ему газету! — сказал он тихо. — Сейчас же дайте! Очень прошу, Сережа!

Провоторову я не мог отказать. В его голосе слышалась непонятная мне тревога. Он готов был сам вырвать у меня газету и передать ее Бушлову, если бы я еще хоть секунду промедлил. Я в недоумении переводил взгляд с него на Бушлова. Бушлов, выпучив глаза, не пробегал строки сводки, а впивался в них. Так читают страшные известия, слова, которые должны врезаться в память на всю жизнь — буквы, пронзающие пулями, рубящие пором... Даже со стороны было видно, что он весь дрожит от напряжения.

Потом он бросил газету на стол и, ничего не сказав, стал проталкиваться к своим нарам. Он лежал там уставя лицо в потолок, не шевелясь, не произнося ни звука. Провоторов выпрямился и вздохнул. Он глядел на притихшего Бушлова. Я был так поражен изменившим лицом Провоторова, что забыл о газете. — Читайте, Сережа! — сказал он, словно очнувшись.-Читайте!

Я кое-как дочитал газету, и в бараке сели ужинать. Собригадники Бушлова позвали его вниз, он нехотя слез, хлебнул две-три ложки и убрался на свою верхотуру. Пока он сидел за столом, я незаметно изучал его лицо. Если бы даже я сел напротив и уставился прокурорским взглядом, он не заметил бы, что я тут. Он был вне барака, вне нашего заполярного Норильска — где-то там, на «материке». Никогда не думал, что люди способны так отрешаться от окружения. Я и не подозревал до этого, что человек за полчаса может постареть на десяток лет. Бушлов, не очень опрятный, угрюмый и раздражительный, был человек в расцвете сил, мужчина как мужчина. Сейчас за столом сидел старик с обвисшим, посеревшим лицом, с мутным взглядом и трясущимися руками — он с трудом, не расплескивая, доносил руку ко рту.

Перед сном я люблю почитать. В этот вечер я зачитался за столом, под тусклой лампочкой, и когда полез на нары, все давно уже храпели, свистели и сопели — кто как любил. Против меня лежал Провоторов, подтянутый и спокойный даже во сне. Я знал, что он крепко спит. Он всегда крепко спал, когда лежал на спине. Он лежал так, не делая ни одного движения, часов семь или восемь, потом раскрывал глаза и сразу поднимался. Я завидовал его удивительному умению спать. Я не терпел двух дел — засыпать и просыпаться, даже лагерь не сумел меня перевоспитать.

Но хотя Провоторов спал, а я по обыкновению томил себя бессмысленными мечтами черт знает о чем, он вскочил раньше моего, когда с нар Бушлова вдруг донеслись рыдания. Бушлов метался на досках, прикрытых одним бушлатом — это и была его постель, — и душил соломенной подушкой вопли. Он именно вопил, словно от приступов боли, а не плакал, он корчился и исторгал из себя импульсивные дикие вскрики. Он совал в эти мгновения в рот кулаки, чтоб его не услышали, наваливался лицом на подушку, но вопли с каждым спазмом становились громче.

Истерику у женщин я видел не раз, но истерика у здоровых мужчин — явление не такое уж частое. Я вскочил, но Провоторов показал мне рукой, чтобы я не поднимался с нар. Он гладил и успокаивал Бушлова, кричал на него гневным шепотом:

— Возьми себя в руки! Стыдись, стыдись, разве можно так распускаться! Всего от тебя ожидал, этого — нет!

Бушлов немного успокоился. Справившись с приступом рыданий, он заговорил. Я слышал, неподвижно лежа на нарах, его тихий, быстрый, страстный голос.

— Пойми меня, нет, ты пойми меня, пойми! — твердил он. — Я же вижу их, пойми, вижу! Они гибнут, неотвратимо погибают, вот в эту самую минуту, а я тут — ты понимаешь это, а я тут! Они гибнут, а я тут ем, сплю... Это же преступление, пойми меня, пойми!

Он снова заметался на нарах, рыдая страшным воющим шепотом. Провоторов закричал на него еще сердитей:

— Нет здесь твоей вины, никогда не соглашусь! Несчастье — да, но не вина! Ты не сам поехал сюда, тебя отправили под конвоем. Успокойся, я тебе приказываю! И с чего ты взял, что они гибнут? В сводке сказано...

Бушлов привскочил на нарах, как подброшенный.

— У меня спрашивай, а не сводку! — закричал он, уже не сдерживая голоса. — И слушай, что тебе скажу я! Их наступает много дивизий, целая армия — они гибнут, нельзя же так, атаковать эти линии в лоб, без подготовки, а их посылают атаковать! Разве я допустил бы это? Но я тут, а не там, я ничего не могу сделать, лучше уж меня расстреляли бы, чем знать, что они погибают оттого, что я не с ними, а на этих проклятых нарах!

Он снова глухо зарыдал. На этот раз и Провоторов заговорил не сразу, а когда он заговорил, я понял по его изменившемуся голосу, что и он страдает, может быть, не меньше Бушлова.

— Успокойся! — повторил он. — Нужно немедленно что-то предпринять. Завтра напишешь новое заявление на имя Сталина, другое — Ворошилову, третье.

— Мо-лотову. Я передам их знакомому летчику, он доставит без промедления в Москву. Не может быть, чтобы там, в конце концов, не взялись за ум! Не враги же они своему народу! Ну ошиблись, ну перезверствовали — пора, пора поворачивать, пока не съели подлинные враги!

Они долго еще шептались, потом Бушлов затих. Он заснул внезапно. Он лежал на боку, широко раскрыв рот, и во сне дергался и стонал.

Провоторов устало сел на свои нары. Он закрыл глаза и покачал головой. Я молчал, зная, что он заговорит первый.

— Да, — сказал он, — вот так и идет наша жизнь, Сережа. Так она и идет. Они без нас — там, а мы здесь — ни для чего, ни для кого...

— Кто этот человек? — спросил я.

— Бушлов? Видный работник Генштаба, знаток линии Маннергейма. Наши дивизии рвутся сейчас через цепи крепостей вслепую, не знают даже, обо что разбивают лбы... Нелегко ему, бедному... Всем нам нелегко, Сережа.

Провоторов накинул на себя бушлат, закрыл глаза и вытянулся на нарах. Он спал или притворялся, что спит. Я думал о нем и о Бушлове. Я понимал теперь, почему тот так страстно твердил, что ему легче быть расстрелянным без вины, чем это предписанное насилием мирное нынешнее существование...

Я тихо плакал. Меня сжигала та же страсть, что его, томило то же высокое человеческое чувство, благороднейшее из человеческих хотений — жизнь свою отдать за други своя! Всем нам было нелегко.

Что еще добавить к этому невеселому рассказу? Дней через десять Бушлов исчез из барака. Ходили слухи,что его отправили в Москву, чуть ли не специальный самолет пригоняли для этого. Еще через полгода, когда ввели генеральские звания, я увидел в «Правде» его фотографию: среди прочих генерал-майоров и он глядел на меня угрюмо и настороженно. На этот раз он был гладко выбрит.